

Часть первая

От детства до юности

1. Автобиография

«Я, Вильниц Исаак Ефимович, родился 5 декабря 1920 года в городе Витебске БССР. Мой отец был служащим-счетоводом, мать — домохозяйкой. В 1921 году наша семья переехала на постоянное местожительство в город Ленинград, где отец продолжал работать бухгалтером», — этими словами начиналась моя типичная автобиография. Далее после описания моего образования шло, как и в анкетах, обычно: «Под судом и следствием я и мои родители не были, избирательных прав не лишались, за границей родственников нет» и что-то еще про участие в оппозиции. После Отечественной войны в конце добавлялся перечень наград, а примерно с 1958 г. указывались ученые степени и звания. В приложении давался список научных работ и изобретений.

На самом деле первая часть автобиографии далека от истины. Только два раза в жизни я написал частично правду — первый раз по глупости, а второй раз с умыслом. Что я никогда не менял в анкетах, это пятую графу — национальность. Но даже мои настоящие имя-отчество были в метрике Ицхак Хаимович, а изменил я их только после демобилизации из армии в 1946 г., когда вместо военного удостоверения личности получал советский паспорт. Фронтовик-офицер (возможно, сам еврей) в военкомате только спросил: «Что, перевели с еврейского на русский?» — «Конечно», ответил я; так и обошлось.

Правда, что наша семья из четырех человек (сестра Роза была старше меня на два года) переехала в город Петроград

в 1921 или в 1922 году. Одновременно с нами из Витебска переебрались три брата отца и его сестра — все с семьями, а также моя бабушка. (Ленинградом наш город стал после смерти Ленина, в 1924 г.)

Я думаю что были две основные причины для этого переселения всей родни. Во-первых, мой отец и два брата получили достаточно приличное русское образование для службы в Петрограде, и они, несомненно, после революции хотели дать хорошее образование своим детям. Была, вероятно, и вторая причина. Если только взглянуть на хронологическую таблицу, то самым важным событием 1921 года в России был X съезд РКП(б), который принял решение о переходе к новой экономической политике (НЭП)*. Эти новые возможности и решили осуществить братья Вильниц, у которых имелся и ум, и знания, и энергия, а возможно и небольшой начальный капитал.

Теперь надо, пусть кратко, рассказать о нашей родословной.

Дедушку своего я не помню. С единственной сохранившейся старой фотографии на меня пристально смотрит пожилой красивый еврей с правильными чертами лица; аккуратно подстрижены седая борода и усы, в меру высокая хасидская меховая шапка одета чуть набок. По рассказам отца, дедушка, Ицхак Бер (меня назвали в память о нем) был ученый, изучивший талмуд, исключительно честный и глубоко верующий человек — цадик. В синагоге Витебска он вершил справедливый третейский суд. На обороте фото — написано карандашом: «Умер в 1919 г.» Значит, дедушка скончался за год до моего рождения.

Бабушка Эйда на фотопортрете, еще моложавая, сидит в удобном кресле, положив руки на подлокотники, пальцы правой руки чуть сцеплены в кулак, на губах слегка высокомерная, властная усмешка. По устным рассказам родных бабушка была деловой женщиной, она держала в Витебске лавку с провизией, где особенно вкусными были селедки. (Исландские селедочки-иваси замечательно готовила под шубой моя Зика. Здесь таких и не сыщешь?!) Благодаря трудам бабушки, были подняты на ноги все её дети — четыре сына и дочка, которые полу-

* Сокращения и аббревиатуры смотри в конце книги

чили вполне хорошее для того времени, не только еврейское, но и русское образование.

По ходу своего повествования я буду вставлять истории о самых важных и поучительных событиях из жизни моих родных.

2. Моя семья. Детство

Мой папа, по паспорту Хаим Исаакович, а все звали его Ефим Исаакович, всегда останется в моей памяти молодежавым, добрым и жизнерадостным. Он любил детей и маму, и по субботам в благополучное время звучала его песенка на идиш:

*«Моя дорогая женошка, она просит всегда на жизнь;
я целую её в щечку, и весело напеваю: тибби-тиби-так».*

Еще в Витебске, до революции папа готовился к поступлению в гимназию и выработал красивый русский почерк и ясный стиль. Часто он приносил интересные, отлично изданные книги: большие тома истории человечества Гельмгольца с прекрасными цветными иллюстрациями или, позже, Академическое полное собрание сочинений Пушкина. Все эти книги сожгли для отопления во время блокады.

Папа всегда сохранял выдержку и вежливо разговаривал как с родными, так и со всеми знакомыми. Все, кто общался с ним, будь то русские мастеровые или еврей-сослуживцы всегда уважали его и ценили дружбу с ним. После войны, когда я уже защитил диссертацию, я стал вести себя высокомерно, да и характер оставался после пяти лет детства без отца (о чем я расскажу дальше), а потом после пяти лет фронта, вспыльчивым, а порой и грубым. По этому поводу я получил от пожилого отца серьезный выговор, и в назидание он написал мне мудрое духовное завещание, которое я бережно храню до сих пор. Недавно я напечатал его и вручил вместе с поздравлением моему внуку Димочке после окончания колледжа на степень бакалавра. Вот некоторые выдержки из этого завещания:

«Ты знай, как держаться и как обходиться с людьми – серьезно и без высокомерия. Говори всегда со всеми людьми (будь то маленький или большой) с уважением во все времена. Этим

ты спасешь себя от злости... Когда ты отвернешься от злости и интриг, тогда на душе твоей наступит радостное утешение, и это успокоение не позволит тебе вредить и огорчать своих близких и друзей.

Еще самая лучшая черта человека – не быть гордым, даже когда ты преуспеваешь... Знай, что существуют многие выше тебя и знающие более тебя. Ты следи и очищай свои думы. Раньше обдумай свою речь, а потом говори. Ты должен всегда помнить, откуда и каким ты явился на свет Божий, а по окончании жизни своей, куда ты уходишь.»

Можно только поражаться глубине и мудрости этих мыслей.

Я считаю, что мудрый, добрый и приветливый характер моего дедушки перешел к отцу, а потом эти черты в полной мере унаследовала моя старшая сестра Роза.

Из близких родных, с самого начала моей женитьбы, относились душевно к моей жене Зике только папа и Роза.

После войны я вернулся домой инвалидом второй группы, но все-таки за полтора года закончил с отличием Военно-Механический институт. В это время в стране уже начался антисемитизм, и мне трудно было найти работу по специальности. Я уже подумывал начать делать деньги – пойти работать в «левую артель», но отец в категорической форме запретил мне этот путь, сказав: «Ты учился не зря, и должен быть ученым». Когда же я в конце концов поступил младшим научным сотрудником в оборонный НИИ, то папа понимая, что Зика заботится обо мне, и на руках у нее маленькая дочурка – Леночка, стал регулярно помогать нам. Я делал то же самое, когда стал достаточно зарабатывать, для семьи Леночки, а затем и для Саши.

Только через десять лет после нашей свадьбы у Зики была единственная и любимая драгоценность – золотое кольцо с чернью и бриллиантом. Это кольцо, оставшееся еще от мамы, подарил Зике мой папа. Сейчас это кольцо у доченьки Леночки, но я думаю (без обиды), что оно по наследству должно перейти к семье Вильниц.

Роза была, как и папа, очень скромной и деликатной. Вот три характерные её фото. Первое, где она вместе с подругой Элей, было подарено мне в 1937 г. Надписано: «Дорогому братишке на память». На втором – в 1946 г. (это уже после

войны) надпись: «Дорогому Изеньке и Зике от сестренки». Этими тактичными словами она стала сестрой и для Зики. Розочка, единственная из родных, навещала Зику в октябре 1945 в роддоме, когда я был в Германии в госпитале. Роковая ошибка врача скорой помощи привела к неожиданной, ранней — в 42 года, смерти любимой дочки и замечательной сестренки. Мне осталась на память еще одна художественная фотография, где мы вместе — молодые, склонили головы друг к другу.

Моя мама, Зося Соломоновна Розенцвейг, переехала из Варшавы в Витебск вместе со своим старшим братом Иосифом, спасаясь от первой мировой войны, а затем, возможно, от гражданской. Мама в молодости была красивой девушкой из состоятельной семьи, и папе в Витебске пришлось упорно добиваться её руки. Семья Иосифа с женой Царкеле и двумя сыновьями Зигмундом и Сашей поселились в Петрограде одновременно с Вильницами. Остальные братья мамы перебрались во Францию. Как-то раз, в 1934-м году, мама получила письмо из Франции. Она долго вечером писала ответ на идиш, но потом, в сталинские времена, переписка, естественно, прекратилась, и следы родственников, братьев мамы, уже трудно отыскать.

В феврале 1925 г. в нашей семье родилась моя младшая сестренка Мила (по паспорту Мина), и мама основное внимание должна была уделять ей. Но мама была труженицей, и она успевала также вкусно готовить (с помощью домработницы), в доме всегда был уют и порядок, а за стол, в хорошее время, садилась обедать вся семья.

Раннее детство мое и сестер было безоблачным. Наш папа, в отличие от того что я писал в автобиографии, занимался во время НЭПа оптовой и розничной торговлей сахаром. Вместе со старшим братом Исааком, которого считали среди родных самым умным, они владели большим складом и магазином на Сенной площади. Меня иногда брали в магазин, в витринах бросались в глаза большущие, высотой в два метра, конусовидные головы белого сахара, а у прилавка в мешках лежали большие куски колотого сахара и различные сорта сахарного песка. Позади магазина к складу подъезжали оптовые покупатели, и мешки с сахаром грузились на их телеги. Уже после войны кто-то из родственников мне сказал, что братья Ефим и Исаак были сахарными королями на Сенном рынке, а возможно и во всем Петрограде.

Мы жили тогда на Канале Грибоедова в доме 111, занимающая просторную квартиру на четвертом этаже. Через один дом слева была уже Театральная площадь с консерваторией и напротив — Мариинский (позже Кировский) театр, на площади выделялся памятник композитору Глинке с обрамлением из красного гранита. Справа от нашего дома через канал Грибоедова, с его неповторимой художественной решеткой, был перекинут Львиный мостик, минуя который сразу можно добраться до Подъяческих улиц, где обитала местная шпана.

При входе в нашу квартиру была большая прихожая с зарешеченным окном, через которое можно было следить за поднимающимися по лестнице. Большая спальня выходила тремя окнами на канал, и я хорошо помню наводнение осенью 1924 года, когда по набережной пробирались пешеходы, нетвердо ступая через воду, которая уже доходила им до колен. Папа задерживался, и мы с Розой смотрели в окно на этот разлив, ожидая отца. Он вскоре добрался, совсем промокший.

В спальне была шикарная мебель из карельской березы с инкрустациями «птичий глаз». Мы с Милой в детстве, как и теперь мои внучата, любили играть в домики. Для этого надо было соорудить над кроватью шатер, что нам удалось сделать; найдя большие гвозди, мы прибили к спинке кровати красивое пикейное покрывало и забирались внутрь. Нам, конечно, досталось за эти проделки, но родители руки на нас никогда не поднимали.

Стена в спальне, противоположная окнам, вся была из матового прочного стекла, и дневной свет через неё проникал в сумрачный кабинет с кожаной мебелью. Я любил там сидеть в таинственном полумраке, фантазировать и читать научад книги из папиной библиотеки. Столовая выходила окнами во двор, где находилось двухэтажное здание, в нем до революции была конюшня и экипажи (в доме, вероятно, жило состоятельное сословие). В нашу квартиру вела парадная лестница с набережной канала, широкие ступени поднимались кверху винтообразно, а по гладким перилам я любил с шиком скатываться вниз на заднице.

До восьми лет я рос ухоженным пай-мальчиком. Меня пытались учить играть на пианино, но на уроки я забывал брать носовой платок и чихал от пыли. «Как это можно быть таким неряхой», ворчала старая дама — учительница. Удиви-

тельно, что точно такие же проблемы, по словам Зики, случались и у неё на уроках музыки в Сестрорецке, где жила их семья.

Специальный ребе приходил на дом учить меня ивриту, он быстро обучил меня бегло молиться, но вероятно сам не знал перевода этих молитв на русский. Поэтому бездумное бормотание молитв на иврите быстро выветрилось у меня из памяти. Однако мой папа всегда был верующим, и на все еврейские праздники он брал меня с собой в главную хоральную синагогу, оригинальной архитектуры, на Лермонтовском проспекте. Папа имел там постоянное место в первых рядах, поскольку щедро оказывал благотворительность не только бедным, но даже, например, обществу земельной помощи евреям. Пока папа молился, я слушал сильный, проникающий в душу голос кантора. Поэтому я и хотел чтобы на похоронах Зики пел кантор.

После войны мы вместе с Зикой продолжали ходить в синагогу на все главные еврейские праздники, в особенности перед отъездом в США, а когда проносили Тору, то Зика стремилась прикоснуться к ней и даже поцеловать. Из синагоги мы всегда возвращались успокоенными и умиротворенными. В этом и заключается «секрет» благотворного влияния религии на здоровье.

Лето в эти годы наша семья проводила на даче в Луге на Лесной улице. Напротив дома был густой сосновый лес, а по другую сторону река Луга. В лес ходили собирать белые грибы и лисички, много было сочной малины и земляники. Клубничное варенье мама варила в медном тазу на целый год. Днем в жару по улице провозил мороженщик свою тележку, и все дети покупали сливочное за две или четыре копейки, положенное между двумя вафлями. Про такое же вкусное мороженое вспоминала и Зика, рассказывая о своём детстве.

В 1928 г., когда мы вернулись с дачи в Ленинград, я начал посещать частные уроки русского языка и скоро стал бегло читать, поначалу все вывески, а затем и любые книги. Арифметику я осилил самостоятельно. На следующий год, успешно сдав простой экзамен, я был принят сразу во второй класс. Но как раз в это в это время и закончилось счастливое детство в нашей семье.

3. Золото (Парилка)

Для заводов и фабрик, строящихся во время первой и последующих пятилеток, требовалось передовое техническое оборудование. Его можно было приобрести на Западе и в США только за золото, да и труд западных специалистов оплачивался валютой.

Кроме того, второй конгресс Коминтерна принял резолюцию: «Только насильственное свержение буржуазии, конфискация её собственности, разрушение всего буржуазного государства... могут обеспечить торжество пролетарской революции». И поплыли многие миллионы долларов, франков, марок во все страны мира на поддержку местных коммунистов в их подрывной деятельности.

Добыча золота шла полным ходом руками заключенных на Колыме (но и для этого требовались высокопроизводительные драги). Однако золота еще не хватало, и тогда в стране были открыты «торгсины», где за золото, серебро и драгоценности можно было приобрести любые продукты и товары. Мой любимый писатель Юрий Нагибин в повести «Тьма в конце туннеля» приводит частушку, которую распевал пьяный бывший «чекист» (ЧК или ВЧК — это Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией во главе с Держинским):

*По торгсинам, по торгсинам
Масло, сыр и колбаса,
А в советских магазинах
Сталин выпучил глаза.*

Однако и торгсины не смогли собрать все золото, и тогда ГПУ (Государственное Политическое Управление — карательный и разведывательный орган Советской власти, продолжавший деятельность ВЧК) придумало, очевидно по приказу Сталина, еще один изуверский метод изъятия золота у обманутых во время НЭПа предпринимателей.

Вспоминаю что перед ссылкой отца поздним вечером, когда все уже заснуло, раздался громкий стук в дверь. Ворвались сотрудники «чекисты», быстро, поверхностно произвели обыск, и, ни слова не говоря, забрали и папу и маму с собой, посадив их в черный «воронок». Милочка вспоминает что она бежала за черной машиной, умоляя: «Верните мне маму!». Уже

на следующий день вечером привезли папу, и он в сопровождении двух сотрудников подошел к изразцовой печке в спальне. Там вынули из печки один изразец, открыли дверцу для вьюшек и извлекли оттуда две жестяные банки из под какао, в которых, как я узнал позже, хранились золотые царские монеты — «десятки». Папу снова увезли, но еще через ночь папа вернулся домой вместе с мамой.

Вот что рассказывал мне папа, когда я стал постарше:

— Нас привезли в тюрьму и развели по разным камерам. Такую камеру образно называли «парилкой», потому что в камеру размерами с комнату плотно набивали 30-40 человек. Сидеть не было возможности, все стояли, соприкасаясь друг с другом, причем самое выгодное место у стены, на которую можно опереться. На потолке круглые сутки горела яркая лампочка; ходили слухи, что в камеры подавали и пар, но, возможно, это было обманчивое впечатление от жары и пота. В то время еще не пытали и не избивали, только по одному вызывали на допрос, и следователь методически задавал одинаковый вопрос: «Укажите, где Вы прячете золото? Если хотите выйти живым, то отдайте золото!» Я сразу же согласился, а мама держалась стойко, говоря, что ни про какое золото не знает. Уже после того, как я отдал золото, нам устроили очную ставку, и мне с трудом удалось выгородить маму, подтвердив, что о припрятанных банках жена ничего не знала.

Михаил Зоценко, подхалимничая перед властью, в одном из рассказов того времени рисует портрет упрямого «нэпмана», которого три раза сажали в «парилку», и каждый раз он отдавал часть золота. Но, к нашему счастью, папу и маму ГПУ по этому поводу больше не трогало, хотя частично золото, очевидно, еще сохранилось.

Перед своей смертью в 1967 г. папа завещал нашей мачехе, Софье Львовне, продать часть монет (чтобы мы не попались на валютных операциях) и выдать по десять тысяч рублей мне, Милочке и сводной сестре Гите, а основная часть в золотых монетах досталась новой папиной жене. Я на свою долю смог купить чешскую мебель, которую мне переправили в Севастополь. А Софья Львовна, пряча золотые монеты, в кон-

це концов положила их в печку; зимой же, забыв об этом, печку затопили, и монеты расплавились, потеряв свою ценность.

Может быть хоть часть золота, отнятого у отца, не была растащена номенклатурой, а пошла во времена пятилеток на строительство оборонных заводов, и, когда шла кровопролитная Отечественная война, благодаря этому золоту, было построено несколько танков или орудий для победы. Это для меня единственное слабое утешение!

4. Временная безотцовщина

Если Ленин искренне считал и говорил, что НЭП — это «всерьез и надолго», то Сталин круто изменил ленинскую политику. Уже в декабре 1925 г. четырнадцатый съезд ВКП(б) взял курс, как тогда говорили, на «социалистическую индустриализацию страны», а в 1929 г. началась Первая пятилетка, одновременно произошел переход от ограничения кулачества к «политике ликвидации кулачества как класса», а заодно закончили разом и с НЭПом. Вот в это время за какое-то мелкое упущение с налогами был арестован мой отец и приговорен к пяти годам ссылки, его сослали в Новосибирск, можно считать что повезло.

В нашей жизни все переменялось коренным образом. Мама пошла работать; нашу постоянную, привыкшую к нам, домработницу пришлось уволить.

Я упоминал, что между спальней и столовой в нашей квартире находился папин кабинет с мебелью обитой эластичной кожей. Когда папы с нами не было, кабинет решили временно сдать каким-то евреям из провинции, а тем удалось прописать на эту комнату их взрослую племянницу Сару, работающую на фабрике. Тогда избавиться от неё было невозможно, а она постоянно отравляла нашу жизнь. Эта грубая, пышнотелая, с красным угристым лицом, Сара, очевидно, страдала одним из видов эротизма (ненасытная половая возбудимость). Поэтому она два-три раза в неделю приводила к себе разных мужиков с бутылкой водки в кармане. После выпивки из кабинета начинали разноситься громкие, на всю квартиру, сладострастные вопли и визги. Каково было мне, мальчишке десяти лет, слышать это!

А каждое утро Сара демонстративно проносила через проходную столовую в туалет свой большой ночной горшок.

Этот и три других запаха преследуют меня с той поры. Зимой квартиру нечем было отапливать. Маме на работе, где шили какие-то изделия, выдавали обрезки кожи, и мы привозили эти обрезки в рогожных мешках на саночках, а затем топили ими печки. Хотя тяга была хорошей, но все равно запах горелой кожи долго сохранялся в воздухе.

Потом мама перешла работать продавщицей в магазин. Тогда все продукты отпускали (так говорили о продаже) только по карточкам. Маме поручили продавать рыбу, она зимой руками в перчатках доставала из ящиков полузамерзшую рыбу и, взвесив, отпускала по карточкам. Я приносил рыбу в «авоське» (сумке из веревок), из ячеек которой торчали головы и хвосты. Дома рыба постепенно размораживалась, но и сейчас у меня аллергия на запах сырой рыбы.

Третий запах, не такой уж противный, зато следы которого было трудно смыть с рук — это запах керосина. Пищу тогда готовили на керосинках, фитили которых постоянно чадили, и на примусах. В корпус примуса заливали керосин и накачивали воздух, под давлением керосин проходил через специальную горелку, где подогревался и распылялся форсункой, горел он ярким синим пламенем. Это, конечно, было талантливое изобретение, потому что такой принцип форсунки и топливо (керосин) используются и теперь в реактивных двигателях. Но в то время отверстие форсунки часто засорялось и его прочищали специальной иглой. Я был хорошим специалистом по починке примусов, но в мою задачу входила также доставка керосина. С десятилитровым бидоном я отправлялся через Львиный мостик в лавку, керосинщик (это была богатая профессия — на недоливе) черпаком из бочки наливал керосин через воронку в бидон и подавал мне. Назад с остановками я тащил его полчаса, мою руку оттягивала ручка этого тяжеленного бидона, а потом еще надо было подниматься на четвертый этаж.

О таких же деталях домашнего быта напоминает в стихах 30-х годов талантливый поэт Осип Мандельштам:

*Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай.*

Мандельштам погиб в лагере (вблизи Владивостока), куда был заключен за знаменитое стихотворение о Сталине и его шайке (об этом потом).

В школе до 6-го класса я не обращал внимания на учебу, надеясь на свою хорошую память, которая обычно выручала. Оценок какое-то время вообще не ставили, потому что нас приучали к «коллективизму» — это был бригадный метод, когда один из бригады отвечал урок за всех. Педагогическая и воспитательная наука называлась тогда педологией, а потом её обвинили во вредительстве.

Школу и уроки заменили мне двор и улица, которые манили к себе. Здесь в почете были только сила и смелость. Пришлось и мне драться до первой крови как со сверстниками, так и с ребятами постарше, но только так можно было завоевать авторитет. Писатель, москвич, мой ровесник, Юрий Нагибин, описывая своё детство, считал себя ущербным из-за национальности; у нас во дворе на канале Грибоедова были русские, хулиганистые евреи, и даже татары, мы не замечали разницы. Свои защищали своих, а для встреч с подъяческой шпаной пришлось научиться отливать свинцовые кастеты. Об этом мне напомнила младшая сестренка Милочка, которую я оберегал от дворовых ребят.

Чем занимались во дворе и на улице? Сначала собирали фантики (обертки от конфет) и играли в них, постарше уже начали играть на мелочь в пристенок и выбивку (расшибалку, так называет Нагибин). Для того чтобы умело разбить и перевернуть стопку монет — кон, надо было раздобыть тяжелый, большой медный пятак царской чеканки. Потом стали смелее и катались по улице Глинки (через Театральную площадь) на подножках трамвая или сзади на «колбасе». А высший шик — зимой на закрепленных коньках зацепиться металлическим прутком за борт грузовика или за ручку трамвая и промчаться так, что из-под коньков летели искры. Это опасное занятие щекотало нервы, но им гордились.

Пора разнообразить эту писанину лирическими отступлениями, которые подсказывает память.